**Я ВСЕ ИСПЫТАЛ:**

**И УПАДОК, И ДЕРЗКИЙ ПОДЪЕМ...**

**Классическая музыка**

Да, вита бревис, арс, ей-богу, лонга...

Дрожит от наслажденья перепонка

под тяжестью классических ладов.

И все равно: пластинка, диск иль плёнка:

она не рвётся даже там, где тонко.

Вот – истина, и никаких понтов.

Затягивай, волшебная воронка!..

Мне кажется порой, что мастера

хотели бы, чтоб некая стена

пред ними возвышалась неприступно,

будь это суд спецов иль вкус двора.

Да, в мире, где есть жизнь, а есть игра,

что-что, а нарушать канон преступно:

ты проиграешь, и довольно крупно:

ты будешь нищ, гоним ет сетера ...

Рассудок, помолчи! Потом, чуть позже.

Мне нечего сказать, а лишь: – О Боже! –

когда из тишины – то мрак, то свет.

И время встало вдруг – чего же больше? –

в пространстве, а в Германии иль в Польше –

гадать ни смысла, ни желанья нет,

а лишь – дыханья огненного след,

а то наоборот – мороз по коже.

**\* \* \***

Колеса, полозья и крылья носили меня

по суше, по тверди.

И, может быть, это пустая была суетня,

нелепость, поверьте.

На старом с безумной пружиной диване своем,

свободный как птица,

я все испытал: и упадок, и дерзкий подъем.

Куда мне стремиться?

Да, жизнь оказалась длинна, хоть и не велика.

Высок потолок мой,

и все, что мне надо, способен я взять с потолка

на нищий листок мой.

Любил я – и как! Я собой оставался – и где!

Похвал и затрещин

мудреную вязь потолок мой таил в череде

подтеков и трещин.

Как мне объяснить вам, с наглядностью умной какой

при каждом вояже,

что Господу внятней задумчивый дерзкий покой,

чем скорости ваши...

Задумчивый!.. Я начинаю прямой репортаж,

при кофе, при пледе –

о том, как я прямо с дивана вступаю в пейзаж,

неведомый прежде.

О, как же в нем остро дыханье болот или гор.

Здесь дышит, наверно,

какой-то совсем незнакомый и новый простор

для Жюля, для Верна.

**Памяти сестры Тани**

Когда-нибудь потом, когда – и сам не знаю,

я прилечу в тот день над Охтинским мостом,

чтоб видеть, как июнь, смеясь, подходит к маю.

Но это не сейчас – когда-нибудь потом.

Тогда я, появясь из старых стен вокзала

на схлест забытых стогн, подумаю с тоской,

что тот – за рубежом, ну а того – не стало,

а этот, хоть здоров, какой-то не такой...

Пока же у перил над серой невской бездной,

как через восемь лет в уральском ковыле,

порхает махаон, и это интересней

всего, что в этот миг творится на земле.

А на земле, меж тем, увидеть можно много:

и ночь светлее дня, и Летний сад в цвету,

и как моя сестра, красавица от бога,

лениво ни во что не ставит красоту,

а говорит стихи про черный снег и ветер,

про революцьонный шаг разбуженных братков.

И Зимний там, вдали, красив, но безответен,

молчит, как он молчал в теченье двух веков.

А дальнего моста чугунная громада

связала берега. Мост дивен и чумаз.

Но махаон летит, и ветер Ленинграда

не хочет унести его от детских глаз.

**Поезд Москва – Владивосток**

Помнишь этот поезд на океан?

Русское раздолье плацкартное.

Десять раз – багровый рассветный туман.

Десять раз – огнище закатное.

Ты играешь сценку, будто ты пьяным-пьяна.

Бестия! Твои ласкаю кисти я.

И опасно урки ржут в проходе, у окна –

амнистия!

Розовый порхающий лихой лепесток

залетел в окошко вагонное.

Все, что было, – прошлое. Владивосток –

наша неизвестность законная.

Цвет воды – бутылочный, немирный, как нож,

с острым же и незнакомым запахом.

Омуты и омули Ангары, что ж,

были вы востоком, стали западом...

Это же конец бесконечной страны.

Это вам не Крым, не Сочи – это вам

на закате палевый отсвет волны

с отсветом почти фиолетовым.

Это жизнь у пристани, на краю,

жадная, бесстрашная, грешная,

для меня – Марсель, для тебя – Гель-Гью,

а для матерей – тьма кромешная.

Нам медяшкой простенькой казалась луна,

там, в ночной Москве, над высотками.

Серебром бесценным нам предстанет она

здесь, над океаном, над сопками...

Как перрон ползет к нам! Тормозим. А народ

Здесь особый, чую по запаху...

По перрону Киплинг с мощной тростью идет,

консультант Востока по Западу.

**В ЭВАКУАЦИИ. СТАНИЦА**

**Птицеферма**

Средь мелких плимутроков и леггорнов

вальяжны, как гвардейцы, кохинхины.

Откуда-то из детства звуки горна

летят, летят сквозь заросли рябины.

Трагическое место птицеферма.

Идёт петух, величествен и мрачен,

с осанкой и судьбою Олоферна:

топор уже отточен, час назначен.

И наблюдая за народом птичьим,

и Тацита припомнишь, и Плутарха:

народ ответит полным безразличьем

на казнь высокочтимого монарха.

Лишь пёрышко из царского наряда

над курами летает и доныне,

да петушок невзрачный не без яда

толкует что-то о пустой гордыне.

**Теперь – другое**

В Москве мне двор нес про любовь такое!

И все, что под покровом, все нагое

неугомонно проникало в сны.

Я думал: враки!

Но оказалось, что я жил во мраке.

Мне дружно свиньи, козы и собаки

доказывали правоту шпаны.

Все так и было –

по слову Дрына, вора и дебила.

Эпоха тыла это подтвердила:

торжествовал порок!

Кот – кошку Лушку,

петух топтал несушку,

и пинчер Джек трепал свою подружку

не всякий день, но в предрешенный срок.

А тут

границы Спарты,

указкой теребя прорехи карты,

красавица Айгюль с соседней парты

показывала робко – глазки вниз.

Она – и так?

Да пусть и через годы

она – и так?! Она, венец природы!

Но тыл являл мне случки, после – роды.

И кот весь март в загривок Лушку грыз.

И зверь, и птица

блюли свое. Что ж, надо согласиться.

Но все же это – морды. Мы же – лица!

Я на бездетность обрекал свой род…

Чего иного,

а землю не собьешь с пути земного.

Фронт убивал. Но тыл рождал нас снова.

И продолжал земной круговорот.